

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
-----------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ

Роман

ЧАСТЬ I. АФРИКА	27
ЧАСТЬ II. СИМВОЛЫ	63
ЧАСТЬ III. ЧУЛАНЧИК	97
ЧАСТЬ IV. ЗОЛОТАЯ СОСНА	118
ЧАСТЬ V. ВРЕМЕНА	131
ЭПИЛОГ	147

ДВОР ПРАДЕДА ГРИШИ

Десять новелл и эпилог

1. ШЕЛЬМЫ ГАДСКИЕ	151
2. ДУРАК	154
3. СОКРОВИЩА	157
4. МУЗЫКА	161
5. ВИДЕНИЕ	165
6. СЧАСТЬЕ	169
7. КРАЖА	174
8. КИКИМОРА	177
9. ТОТ СВЕТ	181
10. ПЕСНЯ	184
О СТАРАТЕЛЕ. ЭПИЛОГ	187

НОВОЧЕРКАССК

Повесть в рассказах

ПЛОХАЯ ЖАБА	191
КАК У ЛАТЫША	195
ВАРЕНИК СЧАСТЬЯ	200
МАЙЯ	206
ПЕЧЕНЕГИ	211
ПЛАНЕТАРИЙ	218
ВОСЬМОЙ ПАРОХОД	225
ТАМ	232
ЧЕРВА	242
ПРОРИЦАНИЕ	250

РАССКАЗЫ

ИЗ ЖИЗНИ ОЛУХА И ЕГО ПРИЯТЕЛЯ	263
СТАРУХА ТАМАРА	269
ГОСТЬ	278

От автора

У Велимира Хлебникова в статье “О расширении пределов русской словесности” перечисляются феномены, которые словесность по разным причинам не замечает. Среди прочего там говорится, что она *“не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли и напоминающей японских самураев”*.

Это поразительно глубокое понимание того, что такое казачество.

Элементов самурайской этики в казачестве было очень много. Начиная от особой системы воспитания, предполагающей полное уничтожение страха смерти, и кончая похоронным обрядом, во время которого родителям запрещалось оплакивать воина, павшего в бою, — такая гибель считалась честью.

Казак и самурай — действительно явления схожие по своей внутренней природе. То, что это впервые увидел не историк, а именно поэт, подтверждает правоту Баратынского: *“Сначала мысль, воплощена / В поэму сжатую поэта...”*

Если проводить параллели с военными кастами мира, то казачество можно сравнивать и с са-

мураями, и с древнеиндийскими кшатриями, и с викингами. Казаки — это военно-сословный субэтнос, не знавший крепостной зависимости, своеобразное “степное рыцарство”, где твоя роль определялась только твоей личной доблестью.

Но в определении Хлебникова для меня крайне важны слова “дух земли”. В разные времена земля, где я родился, называлась по-разному — Скифия, Сарматия, Амазония, Дикое Поле, Земля Войска Донского, ныне — Ростовская область.

Тибетская “Книга мёртвых” утверждает, что душа до нисхождения во плоть может разглядеть и свободно выбрать место воплощения. Если это так, то трудно было не заметить огромный холм в степи недалеко от Азовского моря, облепленный строениями, с собором на макушке. Это выглядит потрясающе. Да и сама степь вокруг холма чудесна. Имя холму Бирючий Кут (*Волчьё Логово*). Имя городу на холме — Новочеркасск. Это бывшая столица “страны казаков” (*il paese dei cosacchi*), как называли венецианцы и генуэзцы Землю Войска Донского. Ещё они называли её “речной республикой” (*la repubblica del fiume*), когда хотели подчеркнуть отличие от русского и турецкого государств — зон царского и султанского абсолютизма, между которыми обреталась эта земля. Трудно было не соблазниться...

Но, скорее всего, никакого выбора у души в миг воплощения нет. К тому или иному локусу нас привязывают детские впечатления.

Да и в то время, когда я родился в городе Новочеркасске, на Дону уже давно не существовало ни Войскового Круга (казачьего парламента), ни выборной атаманской власти, ни принципов общин-

ного землевладения, ни автономии, ни яростной приверженности к сословной и личной свободе. Советским вождям, как и русским царям, всё это представлялось “политическим юродством”, “либерией и воровством”.

Цари насаживали на кол отрубленные головы донских бунтовщиков, жгли казачьи городки и пускали плоты с повешенными по Дону, как это делал Петр I в 1709 году после подавления восстания под предводительством атамана Кондратия Булавина. Восстание началось с отказа казаков передать слободскому Изюмскому полку казачьи соляные промыслы в Бахмутском городке и выдать беглых крепостных крестьян, получивших в “речной республике” свободу (“С Дону выдачи нет!” — отписали царю), а закончилось жесточайшей войной между нарождающейся Российской империей и донскими казаками.

Генсеки же, в свою очередь, расстреливали бунтовщиков из танков и автоматов, как это сделал Никита Хрущёв в 1962 году во время самого крупного после Гражданской войны антисоветского мятежа в Новочеркасске.

Роман “Приложение к фотоальбому”, который поэт Игорь Вишневецкий назвал в рецензии “самой фантазмагорической семейной хроникой, написанной когда-либо по-русски”, не мог бы родиться на свет, если бы не было этих событий — реальных и трагических, — известных как *Новочеркасский расстрел*.

Мне было тогда два с половиной года. Меня оставили с бабушкой Варварой Андреевной — не отвели в ясли, потому что в городе начались беспо-

рядки. Первоначальная причина, как и в случае с Булавинским восстанием, была экономической. В Стране Советов резко подняли цены на продовольствие. Рабочие НЭВЗа — Новочеркасского электровозостроительного завода — остановили станки. Они попытались объяснить начальству, что кормить семьи на зарплаты невозможно. Начальство цинично посоветовало питаться дешёвыми пирожками. Ответом стал бунт, который с катастрофической быстротой перерос во всеобщее восстание 150-тысячного города.

Огромные массы людей двинулись к зданию бывшего атаманского дворца, где располагался тогда горком КПСС. Там же прятались чины спецслужб и партийные боссы из Москвы, присланные Хрущёвым на Дон наводить порядок.

Экономические требования восставших быстро переросли в политические — в неприятие верховной московской власти.

Когда стало известно, что в город вывели войска и бронетехнику, моя бабка Варвара решила немедленно найти и вернуть домой моего дядю — своего младшего сына. Он вместе с тысячами других студентов участвовал в восстании. Дальнейшие события, по её рассказам, развивались как в кошмарном сне.

Она очутилась со мной на руках (оставить было не с кем) на центральной площади города. Вдруг со стороны военного оцепления, защищавшего от демонстрантов горком КПСС, раздались автоматные очереди.

Первый залп дали над головами, чтоб утратить толпу. Но случилось так, что жертвами стали

любопытные мальчишки. Они сидели, наблюдая за происходящим, на старых высоких каштанах в сквере перед дворцом. После залпа мальчишки (“Как каштаны!” — говорила бабка) посыпались с деревьев. Гибель детей взорвала толпу. Люди попытались прорвать оцепление. Одни начали с голыми руками взбираться на бронетранспортёры, другие стали разоружать солдат. И тогда был открыт шквальный огонь по толпе. Бабка присела на корточки. Рядом свистели пули. Прикрывая меня от них, Варвара крепко прижимала меня к себе, как вдруг с ужасом поняла, что если её убьют, то она упадёт на меня и раздавит насмерть своим дородным телом. И тогда она сделала вот что. Она легла на бок, положила меня рядом и накрыла своими громадными сиськами.

Так началась история написания “Приложения к фотоальбому”.

И хотя я ещё не умел ни писать, ни читать, а разговаривал примерно так, как говорят некоторые народы в моих “Языках Нимродовой башни”, история романа действительно началась с того июньского дня 1962 года, когда я спасался под сиськами бабки Варвары в городе Новочеркасске от пуль Хрущёва.

Об этих событиях в романе нет ни слова. Более того, он наполнен, как написал поэт Вишневецкий, “русским весельем”. Но именно кровавый Новочеркасский расстрел вызвал роман к жизни.

Ангел смерти всегда приходит в недоумение, когда видит человека смеющегося. Смех — это то, что мы можем противопоставить смерти. В спасающем душу смехе всегда есть привкус отчаяния.

Спрятанное в душе отчаяние — неизбежный спутник “русского веселья”.

Я был в отчаянии, когда спустя много лет решил создать семейную хронику. Я вдруг понял, что создавать её не из чего.

После подавления восстания щегольски красивый город — дитя голландских инженеров, итальянских архитекторов и щедрой казачьей казны — погрузился в страшную атмосферу. Было множество жертв. Убитых запрещали хоронить — их тайно закапывали солдаты в окрестных балках за городом. Старинную мостовую на площади Карла Маркса, бывшей Дворцовой, несколько дней пытались, но так и не смогли отмыть от крови (въелась в булыжники и щели между ними), — тогда всю площадь просто закатали асфальтом. Начались аресты и обыски. Город в наказание за бунт был отдан Хрущёвым в полное распоряжение КГБ. За любые разговоры о расстреле можно было оказаться в тюрьме. Но не только о расстреле. О вольных предках тоже — и, может быть, даже в первую очередь.

Власть была не глупа. Она прекрасно понимала, почему восстал именно этот город. “Дух земли”, о котором говорил поэт Хлебников, — вот что стало главной жертвой репрессий.

По сути, в 1962 году на Дону началась вторая волна рассказывания. При арестах и массовых обысках, последовавших после расстрела, изымались связанные с казачеством семейные документы, холодное оружие, реликвии, а главное — старинные фотографии. Изымалась память.

Я писал “Приложение к фотоальбому”, имея только обрывки семейных легенд в памяти и не-

сколько разложенных на письменном столе под стеклом фотографий — они были словно маленькие разрозненные островки, чудом уцелевшие в потоке. Всё остальное — записки и дневники прадедов, вырезки из старинных газет об их службе и военных походах, письма предков, полный семейный фотоальбом — эти родовые документы бесследно исчезли в волне репрессий 1962 года.

Я воспитывался бабками и прабабками, многие из которых были долгожительницами (одна умерла, например, в 103 года). Они были очень разговорчивы, беспрестанно что-то мне рассказывали. Наверное, многое выдумывали. Много было правдой. Но это неважно. Пересказы разных семейных легенд вошли в моё сознание с детства. Но, когда я писал этот роман, многие из моих предков уже умерли, мне не у кого было уточнить тот или иной фрагмент родовой истории. Я чувствовал себя как палеонтолог, которому нужно собрать по рассыпанным косточкам цельный скелет доисторического животного. Или, может быть, я работал как картограф, перед которым лежит карта некоего континента. Но карта так стара и так плохо прорисована, на ней так много белых пятен, что континент похож скорее на архипелаг островов, между которыми — неизвестность.

Литература делается из многих вещей — в том числе из отчаяния.

Я начал писать фантасмагорическую семейную хронику, потому что не знал, как были связаны между собой в реальности имевшиеся у меня фотографии, не знал, что происходило

в незапечатлённом пространстве, за границами снимков. Я стал строить слитную реальность из её разрозненных осколков, пытаюсь увидеть в застывшем времени события, мне неизвестные. Задача состояла в том, чтобы распространить магнитное поле светописы на всё время и пространство вокруг маленького фрагмента остановленной жизни — старинного фотоснимка. Мне хотелось соединить эти острова-снимки в сплошной материк, создать единое пространство, заполнив лакуны. Были яркие пятна — фотографии. Но за пределами фотографий был полный мрак. Я пытался проникнуть в этот мрак, в ту таинственную область, которую не запечатлело бесстрастное око фотокамеры.

Я видел образы своих предков и думал, что мне ничего не остаётся, как только пользоваться услугами фантазии, чтобы выйти за пределы фотографий, за их магические границы, в которых удерживается пленённый миг. И я выходил. Так, собственно, и создавалась эта фантазмагорическая семейная хроника, в которой из реальности были взяты только дюжина старинных снимков да легенды, рассказанные старухами.

Стараниями нашей общей истории у меня не было непрерывной памяти рода, не было одной неизменной страны, не было прочного ощущения исторической связи с прошлым. И я вовсе не шучу, или, во всяком случае, я не ёрничаю, когда говорю в эпиграфе к роману, что повествователь пишет свою хронику в Тхимпху, столице гималайского Королевства Бутан, не зная даты... *“Посвящаю дорогим и неизгладимым лицам, которые не дают мне*

покою и здесь, в затерянном царстве Друк-Юла, на берегах быстроводной Чинчу...

Я и в самом деле писал семейную хронику в затерянном королевстве, которое постоянно себя теряет. Потерянная Русь. Потерянная императорская Россия. Потерянный Советский Союз. Образы и смыслы в этом изменчивом до призрачности царстве приходится реконструировать, включая воображение.

Отчасти мой метод отобразил известный художник и театральный режиссёр Дмитрий Крымов. Прочитав “Приложение к фотоальбому”, он воодушевился его повествовательными механизмами. Сказал, что ему очень близка художественная природа романа. И особенно близок тот принцип, по которому он построен, — соприкосновение действительного и воображаемого мира, высекающее искру абсурда. Он попросил меня дать ему на время те самые снимки, из созерцания которых рождалось “Приложение...”. Через некоторое время он позвал меня в свою мастерскую, усадил в особое кресло (театрально-старинное, похожее на трон) и стал выставлять передо мной на мольберт один за другим сделанные им рисунки-коллажи, где он дорисовал вокруг реальных фотографий из моего семейного фотоальбома совершенно фантастическую реальность. Серию этих работ он подарил мне. В моём сознании она органично срослась с “Приложением к фотоальбому” в единое целое.

И всё-таки в романе далеко не всё фантастично.

После того как роман перевели в Италии, Франции и США, иностранные журналисты не раз спрашивали у меня в интервью, откуда взялись

пространственно-временные аномалии в “Приложении к фотоальбому”.

На моё восприятие пространства повлияли две вещи — Донская степь и дом моего прадеда в Новочеркасске, где я вырос.

На степь я часами смотрел с разных точек города (который, как я уже говорил, стоит на высоком холме), наблюдая открытое, вечно расширенное пространство.

А в доме пространство резко расширилось по праздникам...

После революции и Гражданской войны, когда в Новочеркасск пришла большевистская власть, она, как это свойственно русской власти и как это было и в других городах страны, начала с перемотра и передела собственности. Пошла экспроприация больших казачьих домов, с тем чтобы поделить их на коммуналки. Мой прадед Павел Мандрыкин был есаулом Войска Донского. У него был большой каменный дом на улице Кавказской, который он купил в конце XIX века у богатой вдовы атаманского адъютанта Черкесова. Когда по казачьим домам начали ходить коммунистические жилищные комиссии, моя родная бабка и две её сестры — к тому времени они все были замужними, с разными фамилиями — решили спасти семейный дом. Они ввели экспроприаторов в заблуждение. Ещё до прихода комиссии они закрыли межкомнатные двери, повесив на них гобелены, и разделили таким образом дом на три части. Когда комиссия явилась, ей было заявлено, что здесь и так коммуналка, давно живут три разных семьи. Дом оставили в покое.

Позднее дом де-юре разделили между тремя владельцами, моими бабками, а де-факто он оставался единым большим домом. И вот, когда по праздникам — на Пасху, на Рождество — открывали скрытые гобеленами внутренние двери, дом волшебным образом расширялся. И это приводило меня в состояние неопишемого детского счастья. В компании других детей, многочисленных двоюродных и троюродных братьев и сестёр, собиравшихся в доме на праздники, я пробирался в южные комнаты — как мне казалось тогда, очень далеко. Дом топился голландскими печами. Я любил спать в истопном чулане. Бабушка меня за это ругала, но однажды махнула рукой — мол, спи. Тёмная комната без окон, мерцающие в топке огни, загадочная темнота, ощущение утробной теплоты и защищённости... В романе я поместил в чулан главу казачьего рода Мандрыкиных есаула Малаха Григорьевича. Вернувшись с Первой мировой — “великой борьбы народов”, как её тогда называли, он, уставший от этой борьбы, от яркого света, от треска пулемётов и блеска сабель, забрёл в поисках темноты и покоя — подобия смерти — в южные залы дома и там затерялся. Потом его нашли в отдалённом чулане, где он проспал сорок лет.

Время, пространство, рождение, смерть — феномены, с которыми у человеческого сознания очень сложные отношения. Мой роман об этом.

Я всегда испытывал ностальгию по прошлому, в котором не жил. Но при этом роман “Приложение к фотоальбому” я писал не в “поисках утраченного времени”, а в поисках остановленного времени, застывшего, как жук в янтаре. Мне хоте-

лось рассмотреть время стереоскопически — так, чтобы его можно было видеть с любого ракурса, поворачивать во все стороны, не давая никуда двигаться. Для меня многозначным моментом в российской истории представляются десятилетия XX века, судьбоносное время накануне катастрофы, о которой никто ещё не ведаёт, но лучики света от испепеляющего взрыва, который должен произойти, уже видны.

Как считает итальянский рецензент Надия Каприольо (*Nadia Caprioglio*), главный герой романа — безграничный дом, в котором иногда рушатся стены, случаются пыльные бури, обнаруживаются непроходимые коридоры, пустыни, анфилады комнат, ведущие на Кавказ, курганы и озёра в необозримых залах, свирепая паутина, где висят ящерицы и стулья. В доме обитает многочисленная родня и потомство есаула Малаха Мандрыкина и его супруги Аннушки — внуки, невестки, зятя, кумовья, толпы приживальщиков, сумасбродные сыновья, они же дядюшки для повествователя, и сам повествователь, рассказывающий историю казачьего семейства и тайну рождения одного из Мандрыкиных от заезжего грека Антипатроса, фокусника и мага, владельца бродячего цирка, соблаздившего есаульшу Аннушку, пока её муж сражался на Юго-Западном фронте.

Изображённый в романе большой дом, по Каприольо, “архетип фантастической России”, живущий в “атемпоральном пространстве”, как она выражается, или во всех временах сразу — в прошлом, будущем и настоящем. Отчасти я согласен

с этим мнением. Но у меня не было намерения улавливать архетипы. Образ расширяющегося дома возник у меня спонтанно, под воздействием детских воспоминаний о новочеркасском доме моего прадеда, превращённого хитростью бабок в восхитительно загадочный объект.

Собственно, география мира началась для меня с географии дома, с представления, что в доме есть какие-то неведомые пространства, уходящие на юг: моя бабушка владела северной частью дома.

Потом я ощущал это и в Донской степи — прикрытые небесным склоном, словно гобеленом с изображением облаков, и в то же время близкие сопредельные пространства Кавказа, Чёрного моря, а за ними — Средиземного моря и Африки.

В романе я приблизил по времени к магическим 1910-м события одной важной для меня семейной легенды. В отличие от романной — легенда реальная (если так можно сказать) напрямую затрагивает мою кровь. Она связана с происхождением моего прадеда по материнской линии — Андрея Притыкина.

Легенду мне поведала его дочь — та самая Варвара Андреевна, под сиськами которой я пережил Новочеркасский расстрел.

Её бабка — моя прапрабабка Аграфена — изменила мужу, пока тот бился с османами на Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Аграфена забеременела от греческого офицера, чей полк стоял на Нижнем Дону.

Пришло время рожать. А вместе с тем пришло и известие, что муж возвращается с войны.